



А. А. КИЗЕВЕТТЕР

Из размышлений о революции

I

Нарождение революции

Г. П. Федотов, сравнительно недавно вступивший «на оный путь, журнальный путь» и сразу привлечший к себе общее внимание блеском своего пера, и — Ф. А. Степун, давно уже пожинаящий заслуженные лавры и ораторскими, и литературными выступлениями, суть писатели очень интересные и в высшей степени талантливые¹. Оба они пишут превосходно и оба платят довольно щедрую дань некоторой общей слабости: в их писаниях слишком много стилистической пены. Пена, как известно, радует глаз, но зато заслоняет собою тот напиток, ради которого чаша подносится к устам. Оба писателя — большие мастера облекать свои аргументы в форму великолепных образов, остроумно метких и художественно-ярких, и можно только порадоваться тому, что они пользуются этим своим даром в широких размерах. Но все же приходится отметить, что в иных, — и не редких, — случаях каждый из них слишком уже ослабляет вожжи у своего темпераментного пегаса и теряет над ним хозяйскую власть. Это прекрасно, когда красивый образ или остроумный литературный оборот служат эффектной словесной одеждой для аргумента или для вывода. Но совсем уже не так хорошо, если аргумент или вывод, — незаметно для красноречивого автора, — *заменяется* красивым художественным образом. Больше всего следует каждому писателю опасаться стать пленником собственного красноречия. Мне представляется, что оба названные автора недостаточно бдительно следят за собою в этом отношении, если их писания по этой причине выигрывают в яркости и внешней занимательности, то зато они, — хотя бы и не в той же мере, — теряют в доказательности и убедительности.

Г. Федотов в интереснейшем своем этюде «Революция идет» («Современные записки», книга 39-я) берет на себя задачу вы-

яснить причины постигшей Россию революции. Чтение этого этюда доставляет читателю большое эстетическое удовольствие. Из-под пера автора сплошным фонтаном летят бриллиантовые брызги метких афоризмов, неожиданных сопоставлений, ярких риторических фигур. Все это захватывает и пленяет, и читатель невольно отдается быстрому полету мысли автора, спешит от страницы к странице, и когда кончает чтение, ему кажется, что автор совершенно убедил его.

Теперь я решаюсь предложить такому читателю вместе со мною вторично пересмотреть статью г. Федотова, но уже не быстро, а шаг за шагом, требуя от автора отчета в каждом употребленном им литературном обороте, в каждом его утверждении.

Посмотрим, что мы получим от такого опыта.

По словам самого автора, — при попытке объяснить происхождение русской революции его «честолюбием было создать схему, совершенно независимую от дореволюционных публицистических направлений русской мысли». Не заключается ли некоторой внутренней порочности в такой постановке задачи? Мне кажется, что всякий автор должен более всего заботиться о том, чтобы его схема была возможно более правильна, а не о том, чтобы она непременно была совершенно независима от тех или иных направлений мысли.

Автор выставляет такое положение: — «лишь полная свобода от дореволюционных традиций обеспечивает жизненность всякой пореволюционной национальной конструкции»: О, сейчас это очень модно — почерком пера обречь насмарку предреволюционные идеологии только потому, что события пошли не тем ходом, как это нам бы желалось. Но вот что при этом упускается из виду. Если вы приступаете к размышлению, заранее ставя себе самому в обязанность мыслить во всем непременно *наоборот* дореволюционным традициям, то ведь это вовсе не обозначает, что вы достигли «полной свободы» от этих традиций. Это — не свобода, а связанность. Ход вашей мысли заранее предопределен этими именно традициями только не в смысле обязательного с ними согласия, а в смысле обязательного с ними расхождения. Представьте же себе, что то или иное в этих традициях вдруг покажется вам и правильным: все равно вы не свободны, вы связаны решением непременно мыслить *наоборот*. — «Оценка недавнего прошлого, — говорит тут же г. Федотов, — для автора подчинена задаче искания *нового* национального сознания». Почему же непременно — *нового*? Пусть оно будет новым, пусть оно будет старым, — лишь бы оно было правильным; вот такой критерий дал бы действительную свободу мысли от предвзятых положений; что же касается боязни оказаться старомодным, то это — точно

такая же исключаящая свободу мысли узда, как и преднамеренная идеализация всего минувшего.

А впрочем, далее увидим, что автор поддается большому самообольщению, считая себя таким решительным идеологическим новатором. В действительности, сам того не замечая, он часто оперирует положениями не только не новыми, но даже устаревшими в своей давней и неосновательной общепринятости. Мы будем иметь не раз случай отметить эту его черту при пересмотре его изложения.

В ряде глав г. Федотов поочередно рассматривает отдельные общественные группы дореволюционной России с целью определить степень жизнеспособности каждой из них в деле государственного строительства. На этом генеральном смотре перед нами последовательно проходят: дворянство, бюрократия, интеллигенция, буржуазия, «новая» демократия. Автор производит всем этим группам экзамен в политической жизнеспособности и всем без исключения ставит по круглому нулю. Оказывается, что все это были — не живые силы, а трупы. Революция произошла потому, что дореволюционный жизненный строй превратился в какую-то сплошную фикцию, в какой-то склад пустых орехов, без ядер, с одной скорлупой.

Бывают ли вообще революции результатом иссякновения жизненных соков почти во всей стране, на рассмотрении этого вопроса мы остановимся несколько позже. Пока же посмотрим, как автор устанавливает процесс омертвления жизненных тканей России императорского периода.

Он начинает с указания на то, что при самом своем зарождении империя основала свое бытие на роковом внутреннем пороке, который заключал в себе разлагающее смертоносное начало. Этот порок состоял в абсолютном взаимном разобщении народной массы и руководящего общественного слоя — дворянства. Указание это было бы в высшей степени метким, если бы автор правильно уловил внутренний смысл этого отчуждения. Но с первых же шагов своего анализа автор начинает в занимательной форме воспроизводить давно всем знакомые схематические утверждения, которые сводятся к следующему. Империя породила рознь между народом и дворянством, которой в московском царстве не существовало. Империя заменила патриархально-религиозную идею царя, составлявшую дотоле общее достояние всей массы населения без различия социальных низов и верхов, идеей государства как национально-политического целого. Это новое «государственное» сознание было воспринято с началом XVIII стол. только одним дворянством, приобщившимся к западноевропейскому просве-

щению. Народная же масса осталась совсем чужда всякого государственного сознания.

Для народа царь был земной Бог, а вовсе не носитель государственной власти. И если народ так же, как и дворянство, служил империи, выполняя платежи и службы, то делал он это совсем по-иному, нежели дворянство. Для дворянина на первом плане было при этом «отечество» и «государство», их нужды и интересы. А народ не имел никакого понятия ни об «отечестве», ни о «государстве» и вовсе в этих понятиях не чувствовал потребности. Он лил кровь не за отечество, а за веру и царя, лил ее только потому, что царь есть земной Бог и каждый его приказ священен и непререкаем. «Это было подчинение по доверию, а не по убеждению», — говорит г. Федотов, и народным массам совсем не надо было вникать в цели и задачи государственной жизни для того, чтобы выполнять все повеления царя.

Глубокое взаимное отчуждение дворянства и народа действительно составляло опаснейшую червоточину в организме русского государства, но, — мне думается, — г. Федотов напрасно следует в истолковании этого явления условно-стилизованной схеме весьма давнего происхождения. В этой схеме многое не отвечает действительности. И прежде всего, неверно представление о том, будто бы государственное сознание составляло в XVIII столетии монополию дворянства и никто, кроме дворян, не постигал понятия «отечества». Отец русской публицистики Иван Посошков вовсе не принадлежал к дворянству, а был торговым мужиком и по своим религиозно-культурным воззрениям стоял на почве традиционного допетровского церковного мирозерцания, и все это нисколько не помешало ему в своем замечательном публицистическом трактате «О скудости и богатстве» подняться на высоту чисто-государственного мирозерцания,двигающего его в ряды лучших сознательных последователей просвещенного абсолютизма Петра Великого. Могут сказать, что Посошков — единичное исключение. Однако вскрытая в архивах Милюковым и Павловым-Сильванским обильная литература государственных проектов, подававшихся со всех сторон Петру Великому добровольными советчиками, показывает с полной ясностью, что не одни только дворянские умы упорно размышляли тогда над проблемами государственной жизни, но участвовали в этом занятии, побуждаемые сознанием государственных потребностей, представители решительно всех классов тогдашнего общества. Что касается государственной службы во имя идеи отечества, то и ее совершенно неправильно считать отличительной принадлежностью одного дворянства в империи XVIII стол. И когда г. Федотов выставляет афоризм: «две силы

держали и строили русскую империю — пассивная выносливость народных масс и активное военное мужество и государственное сознание дворянства», — то он опять-таки просто повторяет без критической поверки шаблонное общее место, кажущееся несомнительным только потому, что его слишком долго на все лады повторяли, не справляясь с фактами. А загляните-ка, например, в прения, разгоревшиеся в депутатской Комиссии 1767 г. после того, как лидер дворянства кн. Щербатов провозгласил там вот этот самый афоризм, повторяемый теперь нашим автором, желающим отмежеваться от всяких старомодных направлений мысли. Когда Щербатов заявил, что одни только дворяне проливали кровь за отечество и своим военным мужеством спасали честь и достоинство государства, с депутатских скамей поднялась буря негодующих возражений со стороны представителей «подлых сословий», и вельможному оратору возражали и разночинцы, и посадские торговцы, и черносошный крестьянин Чупров; возражали бы, наверное, и представители крепостных владельческих крестьян, но они, как известно, в комиссию 1767 г. допущены не были. Итак, никто не пожелал признать за одним только дворянством чести служения отечеству в деле его защиты от внешних врагов. Г. Федотов указывает на то, что народная масса, начиная с XVIII ст., утратила ясное представление и о границах государства, и о его задачах, и о его внешних врагах. — «Не то поляк бунтует, не то батюшка-царь велел взять дань с китайцев чаем» — так объясняли себе простые русские люди те войны, на которые им приходилось посылать своих сыновей и мужей, и г. Федотов выводит отсюда, что они несли свои жертвы механически, оставаясь вне государственного сознания. Однако одно из другого вовсе не следует с логической неизбежностью. Пускай народ не обладал сведениями по политической географии и в своем воображении простирали власть русского царя далеко за ее действительные географические пределы. Мимоходом напомним, что эта географическая беспомощность вовсе не составляла тогда удела одной только недворянской массы. Ведь господа Простаковы считали географию, наоборот, наукою «недворянской», а извощицей. Но дело не в этом, а в том, что сбивчивые представления общества о политической карте тогдашнего мира вовсе еще не уполномочивают сами по себе на то заключение, что эти плохие географы непременно должны были быть и плохими патриотами. От кого приходится защищать отечество — это могло оставаться неясным для людей, не допускаемых до обсуждения вопросов внешней политики, и тем не менее эти люди могли быть все же убеждены в том, что вообще защищать отечество нужно и обязательно для всех сынов его.

Столь же неосторожно г. Федотов полагает, что народный культ царя был лишен всякого политического содержания, а вытекал всецело из «русской мистической религиозной идеи». Думается, что ссылками на эту «русскую мистическую идею» вообще слишком злоупотребляют при характеристиках русского народного мировоззрения. К таким ссылкам часто прибегают именно в тех случаях, когда исследователю не удается подыскать конкретного объяснения для занимающего его того или иного явления русской жизни. На самом деле народный культ царя в значительной мере опирался на чисто конкретные интересы и практические расчеты народных масс. Он имел самую тесную связь с социально-политическими предпосылками народного мышления. Народная масса никогда не мирилась с привилегиями владельческих классов и считала эти привилегии и социальной несправедливостью, и политической бессмыслицей. Народная масса не могла себе представить происхождения этих привилегий иначе, как в виде узурпации, совершенной теми, кто действовал в своекорыстных интересах и пренебрегал и справедливостью, и общественной пользой. И если народ при этом крепко держался за убеждение в том, что царь этих узурпаций одобрять не может, то убеждение это коренилось именно во взгляде на царя как на верховного представителя и сберегателя общего блага. Мы видим тут не какой-то бесформенно-туманный идеал на мистической основе, а очень конкретное представление о царе как о вожде государства, который не может не заботиться о внутреннем государственном «наряде» и не может поэтому одобрять своекорыстных и благосостоянию государства противоречащих привилегий сильных людей. Конечно, этот строй мыслей несколько не соответствовал идеям дворянского сословия, полагавшего, что государственный порядок только и может держаться что на дворянских привилегиях. Это были два разнородные типа государственного сознания: согласно одному из них, — государство признавалось системой привилегий владельческих классов, оформленную в сословно-иерархический строй; согласно другому — государство мыслилось как организация социальной справедливости, на основании которой земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает. Первый идеал соединялся с воззрением на царя как на первого дворянина империи; второй идеал соединялся с воззрением на царя как на печальника о народных интересах. Конечно, это были два совершенно различные и даже прямо противоположные идеала. Но я совсем не вижу причины дворянский идеал считать проявлением государственного сознания, а в крестьянском идеале усматривать неспособность возвыситься до государственного сознания, якобы заменявшего-

ся в крестьянских умах каким-то бесформенным анархическим мистицизмом. В течение веков апеллируя в своих чаяниях и надеждах именно к царю как к главе государства и в своих бунтах и восстаниях всегда подчеркивая, что знамя восстания поднято не против государства, а против «господ», искажающих народный государственный идеал, народная масса тем самым достаточно засвидетельствовала, что и ей не чуждо государственное сознание, но только свойственное ей государственное мышление знало иные пути и протягивалось к иным перспективам, нежели те, с которыми тесно были связаны теоретики сословного государства.

Приняв во внимание вышесказанное, мы легко заметим следующую ошибку г. Федотова. Опять-таки лишь воспроизводя давнишнее распространенное суждение, г. Федотов связывает начало социальной розни между народом и дворянством с переходом России от Московского царства к петербургской империи и полагает, что разделительной гранью между народом и дворянством встала с тех пор немецкая и французская книжка. Дворянство по этим книжкам научилось «государственному сознанию». А народ, ничего не понимая ни в этих книжках, ни в государственном сознании, остался при прежних своих понятиях и обычаях. Дворянство стало служить *государю*, чуть ли не как своему феодальному *сеньору*, а народ по-прежнему продолжал поклоняться *царю* как земному Богу. Так, западноевропейское просвещение вырыло несуществовавшую ранее бездонную пропасть между народом и дворянством. Вот опять-таки — вовсе не новая, а, наоборот, слишком заезженная схема, которую пора подвергнуть пересмотру. Гораздо ранее построения Петербурга и замены боярских шапок немецкими треуголками и Четьи-миней — «Прикладами како пишутся комплименты», — рознь между народной массой и социальными верхами вступила в полную силу. Империя не породила этой розни, но унаследовала ее от Московского царства. Конечно, немецкое обличье, приобретенное русским дворянством с начала XVIII ст., эту рознь еще более обострило и сгустило, но не в «обличье» все же заключалась самая суть дела. Суть дела состояла в том, что уже в XVIII ст. народная масса усмотрела, что государственный порядок построен на тесном союзе господской усадьбы с воеводской канцелярией и что союз этот направлен прямо против нее. И усмотрев это, народная масса уже тогда стала во враждебное положение не к «государственности» вообще, а к помещичье-приказному государству, исключавшему собою всякий намек на социальное равноправие. И обострению этой розни нисколько не препятствовало то, что дворянин-помещик в то время еще не начал переделывать на иноземный лад свой домашний обиход

и по внешнему строю жизни и по кругу своих понятий стоял очень близко к народной массе. Противоречие социальных интересов, тем не менее, уже ощущалось тогда со всей силой, и достаточно было первой искре, чтобы оно вспыхнуло социальным пожаром. Недаром разиновщина на сто лет предварила пугачевщину.

Итак, мне представляется, что г. Федотов, правильно нащупав корень зла, подточившего русское государство, — в розни и взаимном отчуждении социальных верхов и низов, ошибается и в определении времени возникновения этого зла, и в объяснении его существа. Для избежания допущенных им ошибок ему нужно было глубже заглянуть назад, за пределы империи.

Свой очерк физиологии русского общества за время империи г. Федотов начинает с дворянства. Как мы уже знаем, для г. Федотова история общества за время империи есть история постепенного отмирания всех жизненных тканей общественного организма. Начертывая картину вырождения дворянства, автор грешит, прежде всего, тем, что не определяет точно предмета своего исследования. Былое русское дворянство вовсе ведь не было однородным общественным слоем. И притом, по своему составу, оно никогда не было замкнутой в себе и оторванной от остального населения окоченевшей кастой. Своими постановлениями о дворянстве Петр узаконил тот процесс непрерывной социальной капиллярности, в силу которого состав дворянства постоянно пополнялся и освежался демократическими элементами, нередко поднимавшимися до верхнего общественного слоя с самого жизненного дна. Размышляя о судьбах русского дворянства, нельзя в достаточной мере оценить значение этого обстоятельства. Между тем г. Федотов обращает на это обстоятельство очень мало внимания, и, может быть, по этой-то именно причине он так свободно оперирует понятием дворянства, в смысле некоей определенной, четко от всех других общественных слоев отграниченной общественной категории. В сущности, автор под дворянством понимает не все дворянское сословие, а класс дворян-землевладельцев. Но так как он ни для себя, ни для читателя точно не ограничивает своего предмета именно такими пределами, то характеристика у него получается несколько расплывчатая, а заключения, применимые к известному дворянскому кругу, распространяются без достаточных оснований на все сословие.

Землевладельческое дворянство, по мнению автора, зачахло и разложилось вследствие своего отрыва от государственной службы. На этот раз автор действительно расходится с общепринятым взглядом, но в этом расхождении едва ли можно признать его правым. Общепринятый взгляд состоит в том, что русское землев-

ладельческое дворянство не обнаружило достаточной жизнеспособности именно потому, что оно слишком долго и в слишком сильной степени было *служилым* сословием и продолжало фактически таким оставаться даже и после формальной отмены обязательной для него службы. Эта привычка строить свою жизнь на помочах государственной службы, обеспечивавшей дворянству устойчивые средства к существованию помимо его личной хозяйственной предприимчивости, препятствовала образованию из дворян-земледельцев независимого и самостоятельного общественного класса. Обязательная служба отрывала дворянина от поместья и хозяйства и мешала ему крепко связаться с местной жизнью. Дворянство настойчиво добивалось освобождения от этой принудительной служебной лямки. Но когда эта лямка была с дворянства снята, дворяне, встретив на первых порах с восторгом освобождение от *обязательной* службы, тем не менее продолжали уже *добровольно* считать себя по преимуществу служилым сословием. Тотчас по объявлении дворянской «воли» дворяне массами хлынули со службы в свои усадьбы, но скоро в этом порыве наступило охлаждение. Оказалось, что дворянство тяготилось не службой самой по себе, а ее обязательностью. А когда обязательность отпала, дворянин сплошь да рядом предпочитал казенный оклад, — точно определенный и устойчиво обеспеченный, — колеблющимся доходам от докучных хлопот по хозяйству. Большею частью эти хлопоты сами по себе господ помещиков вовсе к себе не привлекали. Какой-нибудь Болотов, горевший хозяйственным энтузиазмом, представлял собою не рядовую помещичью массу, а лишь избранное меньшинство своего сословия. «Неслужащий дворянин» вовсе не вызывал особого одобрения в общественном мнении. Неодобрительно смотрело на него и начальство. «Дворянин должен служить» — этот тезис вовсе не был вырван манифестом о вольности дворянской и Екатерининской жалованной грамотой ни из сознания правящих сфер, ни из сознания самого дворянского сословия. Да и проживая в своих имениях, дворянин, — в массе, не считая исключений, — обыкновенно не столько хозяйничал, сколько администрировал, разыгрывал из себя владыку своих «подданных» — крестьян, а хозяйству предоставлялось идти по прадедовской рутине без всякого направляющего и творческого руководства. Г. Федотов полагает, что отмена обязательной службы дворянства повлекла за собою «обезгосударствление» или, как автор для большей ясности считает нужным добавить, «дезэтатизацию»* дворянства, его отрыв от госу-

* Это живо напоминает мне, как один русский философ в речи своей перед защитой диссертации сказал: «упрощение или — чтобы яснее выразить»

дарственного дела, и этим именно была порождена беспочвенность дворянской культуры.

Гораздо правильнее было бы сказать, что землевладельческое дворянство проиграло в своем удельном весе в общественной жизни как раз потому, что и после отмены обязательной службы не сумело связать крепко и кровно свои усадебные гнезда со всем строем местной жизни, а все смотрело в сторону, все устремлялось помыслами к государственному казначейству как к наилучшему источнику материального обеспечения. Потому-то и после освобождения крестьян дворяне-землевладельцы *этого типа* почувствовали себя совсем беспомощными в водовороте новых хозяйственных отношений, никак не могли приспособиться к новому хозяйственному строю и единственный выход из своего тупика видели в получении всевозможных воспособлений на счет общегосударственных средств, полагая, что государство должно возместить им утрату дарового крепостного труда и отчужденные от них части их земельных владений, взяв дворян под свою материальную опеку на положении, как бы сказать, пожизненных государственных пенсионеров. Я подчеркиваю, однако, слова: «дворяне-землевладельцы *этого типа*», ибо подводить под одну рубрику весь этот класс было бы исторически неверно. Все же в составе этого класса было всегда меньшинство, — и не такое уже маленькое, — которое в XVIII ст. выдвигало из своей среды кипучих в хозяйственной предприимчивости Болотовых; которое во второй четверти XIX ст. вступило энергично на путь интенсификации своего хозяйства и заранее составляло проекты отмены крепостного права; которое в губернских комитетах 1858–59 гг. отстаивало возможно большее расширение крестьянской реформы, а компенсацию за утрату власти над крестьянами рисовало себе не в виде беспрестанных подачек с высоты престола, а в виде руководящей роли в местном бессловном самоуправлении. Если мы не будем устранять из поля наших наблюдений также и этого ряда явлений, то придется признать, что и в среде землевладельческого дворянства были жизнеспособные элементы, которые могли внести свою творческую струю в процесс зарождения новой демократической государственности в пореформенной России второй половины XIX ст. Этот слой дворянства и дал немало количество своих представителей в состав того общественного движения, которое стремилось к «увенчанию» реформ 60-х годов введением конституции и проведением решительных социально-экономических преобразований на демократической основе. И если правящая

власть в течение второй половины XIX ст., с каждым десятилетием все решительнее, связывала свою позицию и свою судьбу как раз с *отмирающей* частью землевладельческого дворянства, стремясь гальванизировать ее искусственными мероприятиями, то в этом и заключался роковой залог неизбежно надвигавшейся катастрофы.

Умирая как землевладельческий класс, дворянство, — по указанию г. Федотова, — продолжало оказывать влияние на ход русской жизни лишь постольку, поскольку оно входило в состав бюрократии и интеллигенции.

Бюрократически строй г. Федотов согласно с распространенным мнением считает творением Сперанского. Не пора ли исправить и это, столь укоренившееся в исторических взглядах нашего общества, превратное убеждение? Оно превратно вдвойне. Оно вносит неверное освещение в смысл жизненного дела Сперанского, и оно затуманивает вопрос о генезисе русской бюрократической системы. И прежде всего надо же, наконец, признать согласно с фактами, что вовсе не всевластие бюрократии было идеалом Сперанского. Бюрократию он организовывал как исполнительный государственный аппарат, а вовсе не как направляющую правящую силу. Такой силой, по замыслам Сперанского, должно было стать выборное народное представительство, которое Сперанский хотел выдвинуть на первый план не только в центре, на вершине государственного здания, но и в областях, во всех этажах этого здания, сверху и до самого низу, от столицы до волости. Не ясно ли, что осуществление такого плана сделало бы невозможным установление всевластия бюрократии? Итак, не Сперанский, а те, кто похоронили преобразовательный план Сперанского, должны быть признаны насадителями в России бюрократической системы управления. Они воспользовались установленными систематическим умом Сперанского организационными формами распорядка государственной службы, но сообщили этим формам совсем не то применение и предназначение, которое намечалось Сперанским.

И во всяком случае неверно и то общее положение, что бюрократическое управление у нас *создалось* лишь в начале XIX ст. В это время был усовершенствован его аппарат, но момент возникновения бюрократии на Руси должен быть отодвинут лет на полтора назад от эпохи Сперанского. Во второй половине XVII стол. у нас уже нарождается приказное, полицейское государство, правда пока еще далеко не в чистом своем виде, но существенные элементы его уже налицо, хотя они еще и соединяются с элементами противоположными. Дьяки и подъячие XVII в. суть несомненные

родоначальники бюрократического строя и по формам своей деятельности, и по стремлению обособиться в самодовлеющий класс у кормила правления, и по социальному своему составу. Империя XVIII столетия, начиная с Петра Великого, и в этом отношении, как и во многих других, лишь разрабатывает и технически совершенствует наследие Московского царства. С середины XVII ст. замирает и скоро прекращается деятельность земского соборного представительства и водворяется всевластие московских приказов, в которых и начинает всем верховодить быстро нарождающаяся приказная бюрократия. Г. Федотов подчеркивает, что *попович* Сперанский установлением бюрократического строя дал выход демократическим элементам на поверхность государственной жизни, расстроив тем дворянское засилье, утвердившееся в XVIII ст. Но уже во второй половине XVII ст., как раз путем приказной службы, то и дело начинают выдвигаться на поверхность люди весьма скромного социального происхождения, а то и совсем без рода и племени, но с служебными талантами и служебной ловкостью, и порою они становятся в первые ряды государственных дельцов, направляющих ход государственной машины. Вольно же г. Федотову отказывать в звании бюрократии московским приказным дьякам и подъячим второй половины XVII ст., видя в них лишь «невежественных строителей кляузных бумаг, побирушек и ябедников». Такая характеристика вовсе не верна, если иметь в виду не подонки этого слоя, а весь этот класс в совокупности. Крупный приказный «бюрократ» XVII ст., — по происхождению скромный провинциальный дворянин, — Ордин-Нащокин был одним из прямых представителей просвещенного абсолютизма Петра В., а безродный еврей Шафиров уже в XVII ст. играл видную роль в Посольском приказе и прямо оттуда, как бы сказать, по наследству, перешел затем в Петровскую коллегию иностранных дел. Г. Федотов не хочет признавать наличности бюрократии и в России XVIII ст., утверждая, что в то время «чиновничество было совсем подавлено и придавлено в центре — временщиками и фаворитами, а в провинции — феодалами-помещиками. И только Сперанский положил конец этому дворянскому раздолью, заставив дворянина-помещика потесниться перед чиновником — разночинцем».

Мы опять должны заметить, как рискованно пускать в ход такие широкие мазки в исторических характеристиках, ибо при этом легко испаряется правильная историческая перспектива. С одной стороны, господство временщиков и фаворитов в XVIII ст. вовсе не устраняло надобности в рабочем бюрократическом аппарате и в деятельных и энергичных его направителях (укажу лишь

на один пример, но зато очень выразительный: в разгар фавора Бирона выдвигается замечательная деятельность Анисима Маслова, сенатского обер-прокурора, которого Ключевский решил назвать ни более ни менее как отдаленным предшественником Николая Милютина в качестве просвещенного и богатого смелыми идеями бюрократа), а с другой стороны, самовластье богатых провинциальных магнатов, ставивших ни во что местных агентов государственной власти, вовсе не пресеклось со времени мероприятий Сперанского, как этого хочется г. Федотову, и не теряло своей силы во всю первую половину XIX ст. вплоть до реформы 1861 г. Сводя почти к нулю значение бюрократии в России до начала XIX ст., г. Федотов, с другой стороны, думается нам, склонен слишком уже преувеличивать результаты якобы произведенного Сперанским возрождения бюрократической системы и чиновнической среды. — «Удивляться надо тому, — говорит наш автор, — насколько удалось Сперанскому оздоровить это крапивное болото прививкой европейского идеала долга». Припомнив хотя бы содержание комедии Сухово-Кобылина и «Губернских очерков» Салтыкова, вряд ли согласишься с этим утверждением нашего автора.

Постепенное очищение Авгиевых конюшен бюрократических канцелярий началось не со Сперанского, а с реформ 60-х годов, и, конечно, и после того шло оно вовсе не столь стремительно, как это рисуется нашему автору. «Огромная и прекрасно сложенная бюрократическая машина», установленная Сперанским, затем, по мнению автора, захирела и заржавела не в силу внутренних своих дефектов, а потому, что для ее деятельности власть не давала живого материала. После кратковременного периода реформ 60-х годов корабль бюрократической системы садится на мель, команде остается только бездельничать, служба сводится к беспредметному бумаголистанию и к устройству карьерных планов. Бюрократия, таким образом, подобно дворянству, к концу существования империи также превращается в труп, несмотря на все то, что было сделано Сперанским для ее оживотворения.

Отнюдь не питая нежных чувств к русской бюрократии, должен, однако, заметить, что картина бездеятельности правящей бюрократии в последнем периоде существования империи, данная г. Федотовым, очень односторонне стилизована. Справедливость требует признать, что бюрократия и в этом периоде работала очень много и вовсе не к одному только чистописанию сводилась ее работа. Взять хотя бы тот громадный размах, который был придан в 90-х и в 900-х годах развитию государственного хозяйства; взять хотя бы осуществление такого грандиозного предприятия, как построение Сибирской железной дороги; это уже — вполне реальные плоды

дееспособности правящей бюрократии. Подобные факты показывают, что никак нельзя изображать русскую бюрократию конца империи сплошным сборищем рамоликов и лентяев, и фраза нашего автора: «признанная некогда спасать Россию от дворянской атонии бюрократия выродилась в огромную государственную школу безделья», — есть обобщение очень поспешное. Беда заключалась вовсе не в бездеятельности и неработоспособности бюрократии, а в том, что политика власти направилась по ложному пути, и в связи с этим работа бюрократии, — очень усиленная и интенсивная, — не давала благодетельных результатов, а прямо наоборот усиливала внутреннее расстройство, чреватое роковыми последствиями.

Переводя затем луч своего фонаря с бюрократии на интеллигенцию, автор еще более утверждает в пессимистическом направлении своих наблюдений. Тут он идет по давно наезженной дороге.

Сказать, что левые партии утопали в теоретических увлечениях и, оторванные от действительности, предавались безудержному максимализму, а либералы являлись всего только выхолощенными радикалами, способными лишь к бесплодному брюзжанию и к оппозиции ради оппозиции, — сказать все это и ничего к этому не прибавить — не значит ли повторить, уж не знаю в который раз, утверждения, задолго до революции превратившиеся от постоянного употребления в выцветший шаблон?

А ведь нам было обещано, что автор никаких дореволюционных шаблонов в своих суждениях не допустит!

В этих шаблонах есть немалая доля правды, но не вся правда. А ведь «не вся правда» вообще уже не есть правда. Детальное рассмотрение фактов показало бы, что и максимализм крайних левых направлений имел бы при нормальных условиях политической жизни все шансы войти в рамки осуществимых практических задач, и русский либерализм вовсе не был столь пустопорожен, как об этом твердили без конца на все лады, а были ему свойственны весьма серьезные стремления и в политической, и в социальной области, проникнутые духом государственности. Милютин, Унковский, Черкасский, Чичерин, Арсеньев, Петрункевич, Чупров, Ковалевский, Милюков, — беру совершенно на удачу первые пришедшие на мысль имена — ...скажите, пожалуйста, неужели все эти деятели и многие-многие другие того же склада суть не более, как ходячие шарманки?

Вряд ли сам г. Федотов ответит на этот вопрос утвердительно. Все дело только в том, что в своем очерке он витает в области суммарных общих характеристик, где так легко изрекать быстрые приговоры над целыми общественными течениями. А вот стоит только немного приблизиться к подлинным конкретным фактам,

так сейчас же и видишь, насколько эти быстрые приговоры сметаны на живую нитку.

Итак, вся картина русской общественности к концу XIX столетия представляется автору мертвой пустыней. Разночинная интеллигенция, приходившая на смену интеллигенции дворянской, оказывается в изображении автора еще хуже последней. Для объяснения этого явления автор приводит соображения, которые приходится признать, по крайней мере, чересчур поспешно составленными. Роковую роль для вышедшего на общественную арену слоя разночинцев сыграла, по мнению автора, всеобщая школа. Культуры школа не давала. Но дворянин получал эту культуру в своей дворянской семье (большие тут требуются оговорки!), разночинца же семья не могла приучить к умственному труду, а школа отучала от физического труда и вселяла в разночинца пренебрежительное отношение к скромной трудовой доле. Итак, забравшись в гимназию вместо ремесленной школы, разночинцы выходили оттуда белоручками, гнушающимися черной работой и неспособными в то же время и к умственному труду; выходили — коптящие небо верхоглядые и барышни, бречащие на «фортепьянах». Мы знаем, однако, что кроме барышень, бречащих на фортепьянах, интеллигенция второй половины XIX стол. давала и идеалистически настроенных молодых людей обоих полов, ради служения народу забравшихся в деревенскую глушь сельскими учителями и учительницами, фельдшерицами, статистиками и т. п. Как же можно снимать все это со счетов при характеристике общественных настроений? И неужели прошедшие общую школу разночинцы так-таки и превращались всей своей массой в пустопопорожную накипь на общественной жизни? Среди серьезных ученых, писателей, общественных деятелей второй половины XIX ст. разве так уже мало людей, вышедших из разночинной среды?

Среди сплошного общественного маразма, охватившего, по мнению автора, предреволюционную Россию, автор несколько неожиданно открывает «единственного представителя русской силы и предприимчивости» — в русском купце. Однако и этот представитель русской силы и предприимчивости оказывается затем слишком рыхлым и хрупким, чтобы противостоять разлагающим влияниям. Купечество заражается «дворянским декадансом», а созданная купцами промышленность оказывается недоношенным плодом, быстро гибнущим в вихрях политической смуты.

Кажется, мы привели достаточно указаний на то, как сильно нуждаются быстро сооруженные г. Федотовым схемы в фактических проверках и поправках. Мы могли бы и еще продолжать эти

критические замечания относительно отдельных утверждений нашего автора, высказываемых им в такой категорической форме.

Не пора ли, однако, перейти к той общей исходной идее г. Федотова, на которую нанизаны все эти отдельные его утверждения и которая, собственно, и предопределила одностороннее направление его наблюдений и заключений?

Представляя себе внутреннее состояние России перед революцией как процесс омертвления и окостенения всего организма русской жизни, г. Федотов полагает, что в этом как раз и обрисовывается причина пришествия революции. Фактические неверности рисуемых автором картин мы видели выше. В своей односторонне стилизованной характеристике автор чрезмерно преувеличил омертвелые и мертвящие элементы предреволюционного жизненного строя России и чрезмерно преуменьшил элементы живые, деятельные, активно-прогрессивные.

Но если односторонни его фактически изображения, то и его теоретическая общая предпосылка не может быть признана правильной.

Разве революционный взрыв может произойти в стране, в которой все живые силы иссякли и все ткани общественного организма омертвели? Такое положение вещей исключает возможность каких-либо порывов, а тем более революционных. Не брожение, не порыв, не восстание, а неподвижность, гниение и разложение могут быть единственным результатом вымирания всех жизнедеятельных сил страны. Ход мысли автора, по-видимому, таков: революция состоит в падении и разрушении старого порядка. Пасть и разрушиться может только то, что уже мертво. Итак, показать полную мертвенность дореволюционного жизненного строя и значит — объяснить пришествие революции. Легко заметить логический дефект в таком ходе рассуждения. Революция ведь вовсе не есть самоупряднение рушащегося строя. То была бы не революция, а естественная смерть без потрясений и борьбы. Революция есть *восстание* против старого порядка непримиряющихся с ним сил. Но восстание предполагает непременно наличие деятельных сил, способных к энергическому и порывистому движению. Где все мертво и неподвижно, там революции быть не может. Где деятельные силы находят себе удовлетворение в процессе свободного творчества, там тоже не может возникнуть революция, там — восторжествует процесс органического жизненного роста. Революция есть непременно результат враждебной встречи старого порядка отмирающего, но еще достаточно упорного для известного сопротивления враждебным ему силам и этих самых враждебных ему сил, в рамках самого старого порядка постепенно

вызревших, но для своего проявления нуждающихся в ниспровержении этих именно для них уже тесных и неприемлемых рамок. От такой-то встречи и происходит революционный взрыв. Но если это верно, то и диагноз социально-политического кризиса, вызывающего революцию, не может быть правилен и верен, поскольку он начертывает лишь картину отмирания всех без исключения сторон жизни предреволюционного периода. Г. Федотов, в сущности, и сам в конце своего изложения спохватывается на этот счет и в последней главе своего очерка вдруг заявляет: «Не все в русской политической жизни было гнило и обречено» и затем дает ряд оговорок к собственному предшествующему изложению. Не лучше ли было бы, однако, вместо этих беглых оговорок в конце очерка (напоминающих список «погрешностей», прилагаемый в конце книги), просто внести соответствующие существенные поправки в самое предшествующее изложение? Но ведь тогда пришлось бы изменить и всю вообще характеристику русской действительности, которой наполнен очерк; пришлось бы изменить и общую отправную мысль, на которой весь очерк построен.

Конечно, может быть предложен вопрос: если революция есть восстание деятельных сил против отмирающего порядка, то почему же революция русская не удалась? Однако это — уже вопрос иной: не о происхождении революции, а о ее исходе. Почему в конце концов в революционном процессе одержали верх те, кто принес России не блага свободы, а ужасы тирании? Ответ на этот вопрос потребовал бы особого сложного рассуждения, при котором пришлось бы затронуть ряд совсем новых тем. Здесь скажу только, что эта сторона дела вовсе не колеблет утверждения о том, что возникновение революции проистекает из брожения не мертвых, а деятельных элементов общежития. Ведь не все *деятельные* силы суть непременно *благо-детельные*. А почему в процессе революционной борьбы зловерные начала восторжествовали у нас над благими, тому имеется ряд причин, уходящих своими корнями опять-таки в историческое прошлое. Но здесь мы уже не можем заняться их рассмотрением.

II

Революция и революции

Если всякая вообще революция непременно есть взрыв деятельных сил против отмирающего строя учреждений и отношений, это вовсе еще не значит, что все революции происходят и разрешаются одинаково. И я думаю, что нет задачи более бесплодной, как задача определить существо «революции вообще». Конечно,

вовсе не трудно указать на повторяющиеся во всех революциях некоторые общие черты. Но если при этом мы будем скромно держаться исторической эмпирии, не устремляясь на заоблачные высоты метафизики, мы непременно заметим, что эти сходные черты всех революций либо относятся к самым первичным и общим положениям, столь первичным и общим, что они сами по себе нисколько не определяют конкретного хода событий*, либо касаются чисто внешних форм проявления революционных страстей. Но содержание, наполняющее эти формы, разнообразится и индивидуализируется до бесконечности в разных революциях. Во всех шахматных партиях фигуры располагаются и передвигаются по одним и тем же правилам, и тем не менее не бывает двух партий, которые совпали бы по своему содержанию. Ну, а фигуры на шахматной доске истории даже и передвигаются если и не совсем независимо от некоторых правил, то все же с весьма неожиданными зигзагами, так что здесь даже и формальное сходство передвижений очень эфемерно, а о тождественности их внутреннего назначения говорить совсем уже рискованно.

Вот почему так много есть охотников проводить аналогии между всеми революциями и так мало эти аналогии помогают в деле уразумения отдельных революций в их конкретном своеобразии, т. е. в их действительной подлинности.

Дилетанты, предающиеся на досуге размышлениям о таких аналогиях, просто-напросто хватаются за внешние формальные сходства, не проникая в прикрываемые сходною внешностью различия по существу. Для людей, более специально погружающихся в эти вопросы, дело обстоит труднее. Различия по существу не укрываются от их мысленного взора и мешают им подвести без дальних разговоров все революции под один ранжир. Но так как им все же не хочется отказаться от соблазнительного намерения подогнать фактический материал под всеобобщающую социологическую схему, то приходится как-нибудь изысканно изловчиться. При этом умственные усилия направляются по двоякому пути.

Один из этих путей состоит в том, что для спасения положения выставляется тезис: не всякая революция есть настоящая. Оказывается, что бывают революции настоящие и ненастоящие. Если читатель в простоте души предположит, что настоящими революциями при этом называются революции удавшиеся, а ненастоящими — неудавшиеся, то он глубоко ошибется. Дело тут не в удаче или неудаче, а в том, соответствует ли данная революция

* Таково есть и вышеуказанное положение, что революция всегда есть взрыв деятельных сил.

тому рецепту, по которому, согласно решению данного писателя, всякая революция должна совершаться. Если соответствует, то это будет настоящая революция; если не соответствует, то это будет всего только бунт.

Став в такую позицию, писатель совершенно облегчает себе всю задачу. Если даже и в таком перевороте, который он вообще относит к числу настоящих революций, не все явления подойдут под его схему, он выходит из затруднения очень просто, указав на то, что и в настоящей революции бывают бунтовщические элементы. Остается, следовательно, лишь провести разграничительную линию между понятиями революции и бунта. На выполнение этой задачи было употреблено немало остроумия и глубокомыслия. Указывалось, что бунт только разрушает; революция, разрушая, всегда что-нибудь и созидает. Или указывалось, что бунт охватывает лишь небольшую группу населения, революция охватывает большинство нации; или отмечалось, что бунт есть восстание на те или другие частные и отдельные стороны существующего порядка, а революция есть восстание на основные начала этого порядка.

Хотя в этих указаниях отмечаются различия то качественного, то количественного характера, тем не менее ни одно из этих указаний не уполномочивает заключить, что бунт и революция суть явления разнородные и даже, как угодно некоторым писателям, прямо противоположные по своей природе. В конце концов, ни один бунт не обходится без желания достигнуть той или иной перемены в положении восставших, т. е. без желания достигнуть чего-либо нового на место того, что вызвало негодование бунтовщиков. И, с другой стороны, перевороты, признаваемые революциями, не раз зарождались лишь в определенной группе населения, пусть — гораздо более значительной, нежели те движения, которые именуются бунтами. Наконец, и последнее из приведенных выше различий только на первый взгляд может показаться отчетливо-определенным. Что считать частностью и что — основой данного порядка, — это вовсе не так бесспорно определимо. Пугачевщина направлялась только против крепостного права, но, если бы за пугачевцами осталась победа, кто знает, — не началось ли бы общее политическое и социальное светопреставление? Значит, пугачевщина называется не революцией, а бунтом только потому, что бунт не удался. А люди, начавшие Великую французскую революцию, как известно, были почти поголовно убежденными сторонниками монархии и требовали только созыва Генеральных штатов, и мы не называем движение 1789 г. бунтом по той причине, что оно имело успех и при последующем ходе событий раздвинулось далеко за первоначальные рамки. В конце

концов мы будем гораздо ближе к истине, если, не пытаясь доказывать разнородность природы бунта и революции, признаем, что это — явления одного и того же порядка и что бунт есть зародыш революции, а революция есть разросшийся и углубившийся бунт. Можно указать сколько угодно различий между бунтом и революцией, но нельзя доказать, что это — явления не одной породы, точно так же, как целая бездна лежит между кошкой и тигром, и все-таки кошка и тигр принадлежат к одной породе. Не покидая почвы реальной действительности, нужно просто признать, что революции бывают разные: разного стиля, разного размера, разного содержания. Можно, конечно, при желании называть некоторые из них не революциями, а как-нибудь иначе, но это будет уже вопрос терминологии, а не существа.

Есть еще и другой путь для спасения престижа той идеи, что все революции, известные истории, могут быть подведены под единую философско-социологическую схему. Этот путь только что испробовал Ф. А. Степун в статье «Религиозный смысл революции» («Современные записки», кн. XL)².

Г. Степун начинает эту статью с общих методологических замечаний и при этом предлагает читателям, не интересующимся вопросами методологии, пропустить эту первую главу его статьи. Мы, однако, настойчиво советуем читателям отнюдь не поддаваться этому предложению, ибо не сомневаемся в том, что в ответ на большую часть критических замечаний, которые могут быть сделаны на статью г. Степуна, автор укроется как раз именно под сень этих самых методологических соображений. Из этих методологических соображений автор соорудил себе своего рода защитный окоп, дабы сделать себя неуязвимым для тех историков, которые при обсуждении вопросов, соприкасающихся с историческими данными, находят нужным цепко держаться за факты исторической действительности и каждое лыко ставить тут в строку.

Г. Степун желает начертать общий для всех революций закон внутренней диалектики революционного процесса. Он, однако, заранее считается с чрезвычайным разнообразием тех внешних фактов, в которые облакаются революционные взрывы, и предвидит, что всякая попытка втиснуть историю всех революций в один общий рисунок обречена на неудачу. Но он полагает, что всякие возражения со стороны фактической точности сразу отпадают в том случае, если единая природа всех революций будет отыскиваема не методом индукции, а методом типологического конструирования.

Если вы желаете дать обобщающий чертеж *фактического* хода всех революций, собирая общие им все черты, вы обязаны

считаться с фактами исторической действительности, подлежащими обобщению, и всякие указания на допущенные вами в этом отношении ошибки будут расшатывать ваше построение. Другое дело — типологическое конструирование революционного процесса. Типологическая конструкция любого исторического процесса состоит не в обобщении его внешних форм, а в отыскании его основной сущности, которая в разных отдельных случаях может облекаться в различные внешние оболочки, оставаясь в то же время всегда равной самой себе по существу.

На своем несколько вычурном языке Ф. А. Степун объясняет, что типологическая (или, как он ее еще называет, идеало-типическая) конструкция — «сгущает типические черты исследуемого явления до некоего *maximum*'а, быть может, вообще не встречающегося в действительности». Пусть так! И все же означает ли это, что историку-типологу позволительно величественно парить над исторической действительностью, совсем с ней не считаясь? Ни в коем случае! Пусть его конструкция будет типологическая, или идеало-типическая, пусть она будет предназначена вскрыть таинственную душу исторического процесса, а не его внешние очертания, — все же историк-типолог не из собственного пальца эту конструкцию высасывает, а стремится ее разглядеть, уловить, почуять сквозь сетку исторических фактов. И для того, чтобы это занятие не свелось к пустой игре произвольно выбранными отвлеченными понятиями, совершенно необходимо, чтобы и взор исследователя был достаточно многообъемлющ, и сетка фактов, этому глазу противостоящая, была содержима в надлежащей исправности. Таким образом, и метод типологического конструктивизма вовсе не освобождает исследователя от обязанности считаться с критическими замечаниями фактического характера. Сам Ф. А. Степун в этой же статье, но в ином контексте, считает нужным заявить: «Всякая наука обязана исходить из данностей и начинать с наивозможно точного описания факта» (стр. 457). *Всякая наука!* Значит, в том числе и такая, которая оперирует методом типологических конструкций. Однако в запасе у Ф. А. Степуна имеется еще одно положение в виде дополнительной брони против нападков фактической критики. Он совершенно справедливо утверждает, что всякое историческое исследование обусловлено особенностями личного духовного опыта исследователя и связано с ними и что это обстоятельство кладет глубокую печать на самое содержание исторических выводов. Это положение неоспоримо, но только из него никак не выведешь, что исследователю не могут быть предъявляемы требования держать свой субъективизм в узде и ограничивать его произвол контролирующими наблюдениями

за многообразием исторической действительности. Пусть историк вообще не в состоянии выскользнуть из рамок своего духовного опыта при исследовании исторических процессов, подобно тому, как никто и ничто, существующее на нашей планете, не может выскользнуть из сферы земного притяжения. И тем не менее, если в построении историка окажутся вопиющие противоречия фактам исторической действительности, он отнюдь не может отмахнуться от предъявляемых ему возражений простой ссылкой на свою связанность личным духовным опытом.

На такую ссылку можно ведь ответить с достаточным правом: «Если ваш духовный опыт приводит вас к явным ошибкам или односторонностям, в таком случае либо старайтесь усовершенствовать ваш духовный опыт, либо вообще не беритесь за роль историка или, по крайней мере, не выдавайте свою историческую схему за общий закон характеризующих вами исторических процессов». Превращать же «типологические конструкции» в сознательное облечение повести о личных переживаниях в форму исторических обобщений — не значит ли оказывать плохую услугу самому типологическому методу, подрывая его научную стоимость?

Боюсь, что предлагая свое типологическое изображение революционного процесса Ф. А. Степун немало погрешает в только что указанном отношении. М. В. Вишняк в статье «О переосмыслении Степуна»³ совершенно справедливо указал, что Степун изображает не структуру революции, а структуру «собственного сознания» и вопреки своему обещанию говорить о смысле революции вообще, все время имеет в виду только одну определенную и ограниченную во времени революцию — большевистскую. Почему русская большевистская революция должна быть принята за типологическое изображение всякой вообще революции? Ф. А. Степун этого не объясняет, а просто декретирует это положение, как для него самоочевидное, ибо оно вытекает из совокупности его личного недавнего духовного опыта. И все его изложение, состоящее в отождествлении смысла всякой вообще революции с революцией большевистской, написано тоном декретов, возвещающих положения общеобязательные и в доказательствах не нуждающиеся.

Говоря вкратце, эти его положения таковы. Прежде всего, революция не есть ускорение эволюции, а есть внезапно вторгающийся в жизнь «взрыв всех смыслов». Для возможности такого взрыва требуется наличность двух условий: во-первых, требуется выступление на сцену нового слоя или класса и, во-вторых, разрыв единства национального сознания. Разумеется, и то и другое *внезапно* произойти не может, и, следовательно, нужно найти еще

какие-то факторы, которые своим действием *вдруг* превращают социальную и культурную эволюцию в революционный вихрь, ибо и зарождение новых классов, и разложение общенационального сознания сами по себе суть процессы длительные, а не вихреподобные. А кроме того, революции происходили и независимо от указанных Степуном факторов. Июльская революция 1830 г. не была связана с выступлением нового класса. Если бы наш автор сказал на это, что то и не была революция, а только бунт, мы ответили бы: вольно же автору, выставляющему определения, не обнимающие всего изучаемого ряда явлений, просто-напросто произвольно выкидывать из этого ряда все те явления, которые под его определение не подходят. Таким путем можно с большим удобством перекраивать подлежащий изучению материал в угоду искусственным схемам. Но ведь ценность схемы всего менее измеряется соображениями подобного удобства. Что касается единства национального сознания и его разложения, то и тут, прежде всего, надо точно установить, о чем идет речь. Автор поясняет это следующим примером: «Православные мужики, апеллирующие поджогами усадеб к справедливости царя против засилья помещиков, вместе с ними, мужиками, верующих в Бога и царя, — бунтари, но не революционеры. Рабочий же марксист, расстреливающий из пулемета икону как символ ненавистной богопомазанности царей-преступников, — революционер, а не бунтарь».

Итак, основа единства национального сознания сводится к единству понятий религиозных и к единству представлений о верховном носителе власти. Где это единство налицо, там нет революции, где оно нарушено, там-то и неизбежна революция.

Нам кажется, что понятие единства национального сознания — весьма произвольно сужено нашим автором. Пускай в прежние времена крестьяне и помещики одинаково верили в Бога и одинаково признавали царя (впрочем, *одинаковость* и в том и в другом случае подлежит существенным оговоркам). Но ведь не станет же наш автор отрицать, что при всем том те и другие держались не только не одинаковых, но прямо и резко противоположных понятий о праве собственности на землю. Такая ли это мелочь, чтобы, не обращая на нее внимания, говорить о единстве национального сознания в те времена, когда еще не было ничего слышно о восстаниях на Бога и царя? Очень хорошо известно, что разномыслие о земле вырывало бездну между мирозерцанием барина и мужика и превращало их в представителей двух смертельно враждебных станов. Итак, единства национального сознания тогда уже не было, а революции все же не происходило. А с другой стороны, как это уже было указано М. В. Вишняком, развитие Великой французской революции

опиралось не на разрыв, а как раз на *сцепление* национального сознания, и это сцепление революции не предотвратило.

Так извилисты и многообразны бывают подлинные пути исторической действительности, легко выравнивающиеся в прямолинейный порядок лишь в схемах, декретируемых на бумаге красноречивыми мыслителями.

Сводя сущность революционного процесса к борьбе идеологий и оставляя совсем в стороне борьбу интересов, Ф. А. Степун делает попытку исследовать, как бы сказать механику этой борьбы идеологий в вихре революций. По его объяснению, революция происходит тогда, когда в общественном сознании иссякают убеждения, органически выросшие из жизни (по терминологии Степуна, это суть — *идеи*), и на их место выступают мертвенные, искусственно сочиненные, неприменимые, фантастически-утопичные хитросплетения умственных выдумок (по терминологии Степуна это суть — *идеологии*)*. Тогда-то и начинается закручиваться революционный вихрь. Дело начинается с того, что живые идеи умерщвляются искусственной идеологией реакционеров-охранителей. Желая охранить незыблемость традиций, эти господа вынимают из охраняемых ими традиций душу и доводят их до карикатуры. Тогда в прямой противовес этим реакционным выдумкам нарождаются выдумки революционные, столь же мертвенные по своей искусственности, столь же карикатурные по своей фантастичности. Схватка не на жизнь, а на смерть двух утопий, — реакционной и революционной, — и есть революция. Это — не борьба жизни с мертвечиной, это — борьба двух мертвецов, обуславливающая появление всех гнилостных процессов революции. Казалось бы, из соединения двух минусов не может произойти никакого плюса. Казалось бы, встреча двух борющихся мертвецов может породить только разложение и смерть. Ф. А. Степун судит иначе. Он заявляет, что в этом революционном хаосе в сущности «совершается гневное вторжение абсолютного в историческую жизнь». Мертвецы пожирают друг друга, а живым людям в этой трагедии открывается религиозный смысл абсолютных ценностей, презренных и попраных человеческим безумием. В этом и состоит религиозный смысл революции.

Легко заметить, что весь этот схематически рисунок навеян автору недавними его переживаниями и впечатлениями. Но — почему эту повесть о недавних переживаниях и впечатлениях

* Признаемся, нам непонятно, зачем понадобилась автору эта искусственно-хитросплетенная терминология, расходящаяся с обычным словоупотреблением.

автора читатель должен принять за типологическую конструкцию «революции вообще»? История знает революцию, исходная идеология которой оказалась настолько могуче-жизненной, что ее обаяния не могли разрушить самые отталкивающие искажения ее начал, допущенные в революционной практике. Конечно, я разумею Великую французскую революцию. Принципы 1789 г. проистекли не из бреда «бумажных идеологий, никаким золотым фондом идейно-подлинных переживаний не обеспеченных», каковыми, по заявлению Степуна, являются все предреволюционные идеологии. Эти принципы проистекли из мощного умственного движения, оплодотворившего человеческую мысль столь основательно, что и по сие время мыслители и народы все еще питаются благостынями с пиршественного стола этих идей.

Как ни настаивает наш автор на том, что типологическая конструкция исторических процессов может очень сильно отдаляться от конкретных черт исторической действительности, все же это отдаление не может простираться так беспредельно, что, например, из типологии революции оказываются устраненными существенные черты революции 1789 г.

Позволю себе высказать в заключение нечто такое, что в глазах Ф. А. Степуна явится, вероятно, еще большею ересью. Я думаю, что и во имя потребностей науки, и во имя потребностей нашего насущного дня надо поставить на очередь не малоплодотворное изучение «революции вообще», а как раз классификацию и сравнительное изучение конкретных революций во всем их многообразии. Надо изучать не революцию, а революции, — и притом не только в их сходстве, но и в их различиях, ибо революции бывали разные, и затушевывать их различность значит и ослаблять поучительность этого изучения, и обрекать себя на риск слишком эфемерных обобщений.

